

АНДРЕЙ ГРИЦМАН

СТИХИ



Андрей Грицман

СТИХИ

ИЗБРАННЫЕ И НОВЫЕ

книга
ספר

Израиль
2025

АНДРЕЙ ГРИЦМАН

СТИХИ

избранные и новые

Дизайн и верстка *Юлии Дозорец*
Издатель *Виталий Кабаков*

I

*В книге использованы работы Аси Додиной
и Славы Полищука из серии
«Места молчания».*

Книга издается в авторской редакции.

ISBN 978-965-7848-58-6

- © Андрей Грицман, текст, 2025
- © Ася Додина, рисунки, 2025
- © Слава Полищук, рисунки, 2025
- © Юлия Дозорец, макет, 2025
- © Книга Сефер, издание, 2025



АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

Вен венок, Медуза Горгона,
arbor vitae, борозд корона,
древовидная вязь мозжечка.
По височной кости читая,
за преградой, за чудным барьером,
в веществе горделиво-сером
две мечты лежат как чета.

Сухожилий бережны пяльца,
и нанизаны нежно пальцы,
и затопленный сердца склеп,
шеи ствол с кольцеваньем лет.
Помнишь в детстве покои мумий,
сто костей известковых в сумме,
где солей сероватый след.

Сочащиеся грозди почек,
средоточие мочеточников,
и седалищный разворот,
перистальтики юркий крот.
Замечательно ниспадая,
лабиринты переплетает
в глубине слоистых пород.

Кровяная сизая окись,
слизистый купорос и пасынок волос
в темноте отсидевший срок.
Фавна витиеватый рог,

замерший как усталый мальчик,
все бегущий во сне на даче:
голенаст и членистоног.

И змеящийся эпителий,
пока тело лежит в постели,
неустанно шуршит в ночи.
Только тень на стене молчит.
И кто знает, что с нею будет,
когда шум случайный разбудит,
и душа во сне закричит.

□

Близкое небо Вермонта.
Тучи, идущие низко,
за линию горизонта,
за ледяные карнизы,

за тонущие вершины
в остановившейся дали.
Фермы, часовни, лощины,
плотины в синеющей стали.

День, погасая стынет.
Тянется тень сегодня.
Снег на ладони сына,
тающий дар Господний.

31 декабря 1993 г.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

И снег, скользящий по листьям агавы,
и дрожь мимоз, и мыслящий тростник
еще не рождены, и до весны —
Москва на выдохе.

В плену прозрачной лавы
старинный сад. У дальних парников
в снегу зимуют очертанья лилий.
Сеть проводов на высоте легка
и бабочки еще не появились.

Растений чудных перечень течет
из рукавичной кутанности ранней.
Тропических цветов зияют раны.
«Ангуриума» ярко-красный рот
все тянется к «Аглаонеме нежной»,
коснувшись «Алламанды» на лету,
но тоньше всех «Дендробиум прелестный»
и чист простой «Пафиопедиллом».
А «Обоюдоострых Лелий» стебли
с пятиконечниками розоватых тайн
обручены с «Бегонией Беттиной»,
«Беттиной Ротшильд», не «semperflorens».

Я вижу, как выходит в тихий сад
мисс Томпсон бросить взгляд на «Клеродендрон»,
давно уже политый дядей Томом,
с росой, крупнеющей на глянцевином лбу.

В то время как (лишь пушка зоревая), полковник Уилкс
в хрустящем белом шлеме
Внизу «Акалифу» ласкает желтым пальцем.

Мы прятались в тропических лесах
«Ховеи Бельмора», вдыхая
безумный женский аромат
«Гоффмании двуцветной».
«Акокантера пышная», «Пилея»,
«Фитгония серебряножилчатая»,
«Пиррейма Лоддигеза»,
«Эониум», Элизиум, Эол.
Кончалось все «Агавой», «Бересклетом»,
японским садом с ярко-синим небом,
«Эхмеей Вайлбаха» и строгим «Молочаем».
Вот перечень цветов. Фонарь и ночь.
Шагает он, диктующий с листа.
Она — у Ундервыда с папиросой.
Мороз, косые тени, полусон.
Снег тянется на свет и липнет.
В заснеженной, простуженной Москве
латинский перечень торжественных имен
и запах эвкалипта.

□

Брожу по местам преступления
и, как Ходасевич, дышу:
свободно, осенне-весенне.
И, как сумасшедший, все жду,
что что-нибудь да случится,
летящая, словно взор,
случайно-прекрасная птица
прокаркает свой приговор —
до боли знакомого неба.
Объявит, и я побреду
от мест, где любили, налево,
к заливу, к закатному льду.

ДАЧНОЕ

Давай пройдемся по садам надежды
Елены, Ольги. Там, где были прежде.
Туда, где ждет в траве велосипед.
где даже тени тянутся на свет,
опережая ветви.

Где за малиной потный огород
сам по себе загадочно растет.
Забывтый мяч подслушивает сонно,
как кто-то там топчет воспаленно
в смородине: Лариса не дает.

Где рыжий кот на жертвенную клумбу
несет души мышьиной бранный прах
по вороху газет у гамака,
и чуткой лапой трогает слегка
в газетной рамке Патриса Лумумбу.

Плывет с небес похолодевший свет,
предметам на лету давая форму.
Электропоезд тянется в Москву,
тревожа паутину и листву
осины, праздной у пустой платформы.



Двойник

Я жизнь свою провел в борьбе с тобой
с тех пор, когда стоял на мостовой
в морозном паре у родных парадных.
Теперь опять с повинной головой
я слушаю, что шепчет соглядатай.
Но, Боже мой, на то ответа нет.
И только сон, когда плывет рассвет,
мне уши затыкает мертвой ватой.
Прости меня, я не желаю зла.
Но тычется дурная голова
в пустые руки, что не держат книгу.
И, падая во тьму, воздушные слова,
как блики, в никуда бегут по свету.
И мой ровесник, собеседник мой,
сидит передо мной, задумчиво седой,
молчит и курит, старый неврастеник.
Хранит посулы телефон немой.
Там был и третий, безупречный, но
и мной, и им остался не замечен
и ускользнул полупрозрачной тенью.

ДОРОГА НОМЕР ОДИН

Складская, слободская и пакгаузная,
фабрично-выморочная,
мазутно-газолиновая,
обызвествленная артерия
от ржавых Аппалачей
сквозь бифуркацию тоски
в бескровный тлен пустых мотелей
и далее везде: в зеленый водоем
бегущих крон,
ночных радиоволн
уснувшей Атлантиды,
где в обмороке улиц — фосфор
бессонницы, невидимых и днем
перемещенных лиц.

ИЮНЬ В МОСКВЕ

Пока еще хоть местность узнает
вечнолетающим пухом.
Да анонимно поезд позовет
знакомо-донным гудом.

И это даже и не тот же звук,
а слепок того звука, ступок.
Знакомо дышит предвечерний луг.
Все остальное пусто.

Так зверь на память запаха идет,
не напрягая слуха.
Я позабыл как звонок небосвод,
когда так тихо, сухо.

Почти не узнаваем ближний лес:
оскалы вилл средь сосен, но —
суглинок, супесь,
и электрички дробный гон в ущелья без-
имянных улиц,

где глаз не узнает проулков стык.
Мертв низких окон фосфор.
И все это исчезло за год, вмиг.
Почти неразличимый материк,
где только пух, да запах
дачных сосен.

□

Мне хотелось узнать, почему треска,
и хотелось узнать, почему тоска.
А в ушах гудит: «Говорит Москва,
и в судьбе твоей не видать ни зги».
Так в тумане невидим нам мыс Трески.

Мне хотелось узнать, почему коньяк,
а внутренний голос говорит: «Дурак,
пей коньяк, водяру ли, «Абсолют»,
вечерами, по барам ли, поутру,
все равно превратишься потом в золу».

Я ему отвечаю: «Ты сам дурак,
рыбой в небе летит судьба!
И я знаю, что выхода не найти,
так хоть с другом выпить нам по пути
и, простившись, надеть пальто и уйти».

«Не уйдешь далеко через редкий лес,
где начало, там тебе и конец.
Так нечистая сила ведет в лесу,
словно нас по Садовому по кольцу
и под ребра толкает носатый бес».

Там, я вижу, повсюду горят огни,
по сугробам текут голубые дни,
и вдали у палатки стоит она.
И мы с ней остаемся совсем одни,
то есть я один и она одна.

МОСКВА

Это я ни к кому.
Закрываю глаза и плыву
в Карфаген моих зим,
где посыпаны солью дворы,
где татары живут
с незапамятно-мутной поры
и где в пять пополудни
давно уж не видно ни зги.

Желтый булочной свет
на сугроба холодной муке,
и в кромешности труб
блеск летит по незримой реке.
Там в глухую играли
у сытных парных кабаков.
А теперь ты стоишь
у трамвайных бессмертных кругов.

Ты стоишь у прудов,
на закраинах дуг голубых,
на старинном снегу.
Говоришь ты, но голос твой тих.

Я тебя не встречал
ни с друзьями, ни в школьных дворах.
Лишь порой на семейных
обрамленных фото,
что стоят на комодах

в теперь опустевших домах.
Там, где шарят впотьмах
звезды, фары машин
в тишине и при ясной погоде.

Я тебя узнаю. Закрываю глаза и плыву,
абонент всех сетей,
по бездомной теперь Божедомке.
Ты меня не ищи,
ни по спискам, ни в ликах витрин.

Я живу далеко,
у какой-то невидимой кромки.

НЕПЕРЕВОДИМОЕ

Ждут, чифирят, канают, доют,
стебают, пробуют на зуб,
за зоб, мозги друг другу моют,
жалеют, плачут и зовут.

Базлают, льют, лабают, бдят,
ждут, осаждают дверь лабаза,
берут на понг, живьем едят,
честят, зеленкой жгут заразу.

Ждут на перронах, мразь жуют,
морочат, прочат — жив покуда,
дымят, смолят, раза дают,
ждут керосина, лета, чуда.

Тончают, ждут, рука руку моет,
на уши вешают лапшу,
прут, заправляют, пьют и кроют,
рвут антифризом, стригут паршу.

Закосят, заметут и ждут,
снут, кусают, выжирают,
дают потянуть, шкуру дерут,
отлив, дрочат возле сарая.

Сыреют, греют, ждут и жгут,
подметки режут и балдеют,
потом годят и ни гу-гу,
потом жалеют о содеян-

ном. Тепло. Висит осенний свет,
и стылый пласт листвы и тлена
застыл в саду. И ты, присев
на полусгнившее полено,

вдруг вспомнишь,
как прекраснее азалии
ждала нас жизнь
с цветами на вокзале.

□

Облако, озеро, только нету башни.
Дышу в пронизанном солнечном срубе.
Сосед Тургенев пройдёт на охоту с ягдташем.
Зайдёт, присядет за стол, Earl Gray пригубит.

Головой покачает: постмодернисты!
А потом вздохнёт: Бедная Лиза.
Перед нами обоими лист стелется чистый,
Посидит, уйдёт, вспомнив свою Полину.

Он уйдёт, и стих его тает белый,
Как следы января в холодящей чашце.
Незримый джип затихает слева.
Слава Богу, Сергеич заходит всё чашце.

Слава Богу, вокруг гудит заповедник,
И здесь, в глубине, нету отстрела.
Пусть это будет полустанок последний,
Где душу ждёт небесное тело.

Летит оно, скорей всего, мимо.
Висишь среди крон в деревянном кресле.
Вокруг леса шелестят верлибром,
Да ветер гудит индейскую песню.

ПИСЬМО

Моя жизнь протекает как обычно:
заботы, поддержание очага, борьба со стихией.
Жуки поели настурции,
которые я бережно растила из семян.
Пришло время сбора нападавших яблок.
Они лежат вперемешку
с замерзшими мышинными тушками,
добычей нашего кота.
Сколько ни сгребай листву,
земля становится желто-бурой к утру,
будто никто тут никогда и не жил.

Последнее время ветры вносят полный хаос,
газон усыпан сломанными ветвями и похож
на перекопанное кладбище деревьев.
Холодная ранняя осень нагринула,
и теперь кажется, что мы проведем остаток жизни
на дне истлевающего лиственного моря.

Однако отъезд и побег от домашних забот
никакого покоя не сулят:
одевать детей, наскоро есть
в придорожных кафетериях, переругиваться
с мужем в машине по поводу семейного бюджета,
сдерживать мочевой пузырь до последнего,
съезжать с шоссе в незнакомые городки,
спрашивать дорогу у местных жителей,
заглядывать в их глаза, жалеть их



за то, что у них такая жизнь,
как и они, наверное, жалеют нас за нашу,
лежать в ничьей постели в мотеле
ночью с открытыми глазами,
сквозь наглухо закрытые окна
осязать запах стерильных поверхностей,
мертво-синего квадрата воды во дворе,
слушать дыхание большой реки,
несущей свои воды среди
незримых темных холмов
до самого конца, туда,
где начинается бесконечность,
где океан сливается с небом,
тлеет восход, и где не надо
вставать утром и будить близких.

□

По поводу ситуации, моя дорогая.
Она, по-прежнему, грустная,
по меньшей мере.
Теряешь одну,
приходит другая.
Но каждый сам, в одиночку,
боится своей потери.

Что такое потеря?
Поиски дома, пустое место
в груди субъекта.
Правоверные за меня
справляют субботу,
где угодно, а я, молодея,
ношу по гостям грудную клетку.

Как стареет женщина?
Память о боли,
крик: Филипп! — в окно,
в горящую бездну.
Забота о пыли.

Мужчина стареет, как волк в диком поле,
ища реку родную.
Потом на пределе —
видит душу свою, как маяк в тумане,
плывущий, зримый, недостижимый.
Корабль жизни проходит мимо
в мерцающем караване,
и на борту неразборчиво имя.

Что же остаётся?
Глоток свободы. Приятие неизбежного счёта,
счета, заботы, вечерняя почта.
О чём, Всевышний? Дожить до субботы,
До Рош Хашана, до Эрец –
и там залечь ночью.

Камень стынет медленно.
Звёзды хрупки. Пахнет
горящим вереском, мусором
от Рамаллы, сухой кровью.
Лежу один, поднимая к луне
озябшие руки, своему покою не веря.
И на меня, тихо старея,
глядят удивлённо
масличные деревья,
так и не узнав, что они деревья.

РОДНАЯ РЕЧЬ

И снова я ушел в родную речь:
Сыр, Хлеб, Оргтехника,
Кинотеатр «Керчь».
Туда, где жизнь свернулась на краю,
там, где конечная,
где я тебя люблю.

Где я стою на ветреном углу
с брюнеткой ветреной,
товароведом Женей,
что ведаёт неведомым товаром
с романом Шелдона.
Короче говоря, другая эра.

Странные картины
застыли в павильонах февраля.
Чужие имена, дойдя до половины,
вдруг замерзают.
Гулкая земля звенит.
И ржавая имперская заря
трепещет вымпелом
над очередью длинной.

Но сделай шаг,
и наполняет грудь
гарь честности на пушкинских снегах,
что светятся по далям околотка,
и пригородный лес рисунком легким
плывет в окне автобусной зимы.

Грохочет дверь. Закончена посадка,
и глухнувшие близких голоса
едва ли различимы, далеки.
Родная речь из тьмы, и тьмы, и тьмы,
за слюдяным стеклом в утробно-донном льду,
где тщетное тепло моей руки
уже не оставляет отпечатка.

□

Ситуация грустная, моя дорогая.
Воздух распадается на хладные глыбы.
Мы в них живём, оберегая –
каждый своё, я, например – губы.

Сколько лет я шепчу, прошу слова.
Мы с жизнью всю жизнь говорим о разном.
Я не прихожусь ко двору и каждый раз снова
ищу полосу жизни, за которой – бездна.

Но и к бездне глаз привыкает устало.
Там что-то знакомое движется и мерцает:
мешки, головные уборы, без конца и края
тоска-пересадка, толчея вокзала.

□

Смеркается. Совсем стемнело.
Долина жизни как пейзаж Куинджи.
Луна покрыла местность черным мелом.
Не видно флоры, фауны не слышно.

Рыбки уснули в саду, птички заснули в пруду.
Страшно без джина и тоника
грешникам в скучном аду.
А четверем алкоголикам —
славно в Нескучном саду.

Я и сам в таком же положении.
Скушно, девушки!
Где же вы, светлые?
Детства слепое телодвижение
перетекает в забвение нежное,
с давнего Севера в сторону южную.
Там вечерами течет чаепитие.

Я уже шаг этот сделал последний.
Это такие места, где пришельцы,
прошелестев сквозь пальцы событий, —
из-за стола исчезают бесследно.

□

Сухая хватка,
хруст строк,
хищный язык
в поиске звука.
Воздушный крест
прошлых разлук
повис в пустоте.
Осталось только
посмотреть вокруг:
ночь шевелится
подобьем пепла,
падает снег,
кончается век,
статуи стынет оскал.
Пусто, и только
стоит где-то
человек, весь белый,
один под часами,
под застывшей стрелкой
в ожиданьи лета.
Уснул, что ли?



□

Телефонный звонок из зиянья забвенья,
где все по-прежнему: трубка, черно-белое фото,
обрезки ногтей,
недочитанных книг веренища театром теней.
Те же стены, с другими обоями —
обман зренья и света.
Номера на обоях — коридорная азбука детства,
чужого ремонта жирный розовый след.
Блики лампы, гранит пресс-папье,
твой бессмертный янтарь, Грин и Диккенс на полке
и кастрюля укутана в клетчатый плед.
Я из школы пришел, левая ноет рука —
потерялась перчатка. В конце имени скачет «й».
Зазвонил телефон — но и звук превращается в лед.

□

Услышав голос тихий и глухой,
остановлюсь с протянутой рукой,
сжимая прошлогоднюю газету.
Снег падает по направлению к лету
и замирает где-то за рекой.

Гудок оттуда хриплый и глухой
Всё тянется без эха, без ответа.
Я в сумерках ищу источник света
за городской невидимой чертой,
давно уже от стаи той отсталый.

Слетает незаметно снег усталый.
Его ловлю я ртом, и, застегнув пальто,
гляжу в незамерзающие лужи,
гордясь лишь мне заметной красотой,
и радуюсь: могло бы быть и хуже.
И странно, что оставлена была
за рубежом осеннего стекла
рукой рассеянной
полоска этой суши.

ФУТБОЛЬНОЕ

*Валентину Бубукину,
бывшему капитану московского
«Локомотива»*

Осиротели поля в тишине удушающей лета.
Кончились игры, и гулко оглохли трибуны.
Всё исчезает: хот-доги, доходы, и слава
к Богу летит на боинга блестящих крыльях.

Камеры гаснут, пустеют поля из асфальта.
Кубок футбола наполнила страшная крепость.
В ней Марадона растаял в клубах эфедрина.
Как далеко его бросила ты, Аргентина!

Помню, когда-то я, маленький (горло в ангине),
жадно следил в Подмосковье за летом в Стокгольме.
Ни о стокгольмской постели, ни о «Красной пустыне»
я и не знал, да и не было их и в помине.

Юный Пеле комком сухожилий и крови
шведам грозил, никогда не прощая ошибки.
Но и тогда по трофейному радио слепо
мы распознали рисунок его колецований.

Франц Бекенбауэр, Круиф и Чарльтон точнейший,
мудрый Копа, Поркуян и тигр с Куры, Метревели.
Ткань бытия истончается на заветном диване.
Кончилось время игры, и экран в электронной метели.

Что же мы здесь разорались на дальней окраине мира,
в странной стране феминисток, стряпчих, бейсбола, —
им не понять угловой и стремительный дриблинг.
Имя твоё для них звучит полосканьем, Бубукин!

Братья-болгары, вашу я стойкость восславлю.
Не устоял перед вами железный германец.
Сербы-коммандос стреляли по небу, покуда британец
и галл смиренно следили за ходом ристалищ.

В этой стране мы — как орден, масонское братство.
Что им молитва Ромарио после смертельного танца.
А уж до конной милиции у стадиона «Динамо»
им — как до лампочки в склепе родного подъезда.

Помнишь, врывались с мячом мы со снежного поля
выпить воды из-под крана, пьянея от тестостерона.
Мы, повторяю, посланцы незримой державы.
Кончилось время игры, и под рёв стадиона
Баджио гордый упал в траву Пасадены!

Чемпионат мира по футболу 1994 года

□

Это — азбука Морзе,
Разбросанная бисером
По страницам.
Каждая единица
Обозначает молекулу дыхания
А обозначив, исчезает.
Таёт на языке как мята
Оставляя меты тут и там,
Незаметные никому кроме
Членов тайного общества
Никогда не вышедших на площадь.

Площадь оцеплена статуями
Торговые ряды пусты
Памятник смотри в другую сторону
Трамвайные пути заросли бурьяном.

Пахнет тлеющими листьями
И переключка сторожевых
Стынет на лету в вязком воздухе,
И висит коническими штыками
На гудящей сети
Беспроволочной связи
Чьего-то спутника
Пропавшего без вести.

□

Я — пейзаж после битвы
в стране, оставленной утром,
где проходят войска
в пыли пяти континентов.

Стекленеет листва.
На ветвях — воздушные змеи и ленты.
Воздушные замки — в снегу
до второго пришествия лета.

Я — судьба пересохших ручьев, подъямков,
бездонных оврагов,
поселений, где ходят к могилам врагов.

Черный ветер полуночи
шелестит улетевшей бумагой
неотправленных писем.

Светлый ветер забвенья играет травую
на стыках железных дорог
в глуши городов.

Пахнет гарью, сиренью, железом и солидолом.
Безногий посыльный за пазухой греет письмо.

Я смотрю на карту метро, как антрополог
близоруко и долго
глядит на скелет в берлоге лаборатории,
не слыша посыльного, что стучит третий век
в слюдяное окно.

Здесь темнеет к утру,
и я наконец засыпаю.

Снится женской души сквозная
летящая ткань.

Я — пейзаж после битвы в стране,
где снег выпадает лишь к маю
и где на воскресенье
выпадает последний наш день.

9 МАЯ

Я не знаю о чем вы там помните
Мертв слежавшийся дух катакомб
Это памяти крохи укромные
Те, которых Господь не сберег

И не нам ковырять и поглаживать
Карфагена просоленный грунт
И себя постоянно уваживать
Чтобы вовсе навек не заснуть

Взрыв бризантный рассыпчатым крошевом
Засыпает предутренний сон
Ну братишка и как твое отчество
Чей ты будешь не сукин ли сын?

Так шеренгами жгут поколения
Берегами мертвеющий лес
Так мы дышим продуктами тления
И ужасен пустующий крест

II



5 АДАР II 5771

Когда нас не будет, не станет, настанет
Ваш мир в пустоте бессловесного гуда.
Мы дымом взлетим, звездой негасимой
В заброшенном городе старшего сына.
Задавленных судеб овраг отплывает,
Никто не выходит на улицу в мае.
А вы припадёте к подножиям жирным
В крови, в холодеющем сале могильном.
И там, в перепончатом мраке забвенья
Всё медленно вдаль поплывёт к разрешенью
Всех ваших задач относительных чисел
К закрытому складу непонятых писем.
Но выживет память кровавого сгустка,
Там книга закрыта, там гулко и пусто.
Но и без нас будет боль абсолютна
И ваши же дети, больные под утро
Всё будут шептать в подсознательном страхе,
И дети и вы до последнего часа:
Йоав и Элад, и грудная Хадаса...

АВГУСТ. 1968–2008

Преображение. Осень не настала.
Пьянящий дух от яблок, крови, водки.
Я помню паровоз «Иосиф Сталин»
и у Джанкоя ржавую подлодку.

Свободный мир за пару километров:
Комфорт Москвы с ее теплом утробным,
с загробной вьюгой, поземельным ветром.
Родной брусчатки хруст на месте Лобном.

За сорок лет уж все давно забыли
цветы на танках, как навис Смрковский
над площадью, где Кафка в черной пыли
писал письмо Милене, ставшей дымом.

Броня крепка и танки наши быстры
по Приднестровью, по пустыне Гори.
Мы — по долинам и по дальним взгорьям,
от тихой Истры до бурлящей Мктвари.

За сорок лет ракеты заржавели,
сотрудники попали в президенты.
Всё так же Мавзолея сизы ели,
хотя и потускнели позументы.

Но черная река всё льет на запад,
и шоферюга ищет монтировку.
Над Третьим Римом хмарь и гари запах
и ВВС на рекогносцировке.

□

Аллея длинная вдоль холма,
слева ферма, скала —
осколок окаменевшего века.
Река не видна, но едва слышна.
Почти до лета следы усталого снега.

Эту дорогу я когда-то узнал:
каждый куст и ствол.
Вижу тебя за глухим поворотом,
там, где к дороге подходит бунинский суходол.
Где только кажется,
что ждет тебя кто-то.

В легком небе холм, но города на нем нет.
Все как в России: дол, чащи, веси и кущи.
Мой нос в табаке, душа тончает в вине.
И в просторном моем картонном шатре
десять женщин пекут
предназначенный хлеб насущный.

□

В погасшем бездонном зале — море немых голов,
лишь два лица светятся — Боже, спаси.
Все затаились, ждут сокровенных слов.
Но не дождешься в сумерках, как ни проси.

Светятся лица их в пустой темноте,
словно родное слово в сверхзвуковой сети,
кто-то собрался спеть, но вовсе не те, не те,
в этой толпе таких губ навзлет не найти.

Свечи мерцают вслух, и стекленеет зал,
горстью рябых монет звенят наобум.
Я до того от стоячей воды устал,
мне до предсердия сердце заполнил шум.

В этом зале мерцают две пары текучих глаз,
две осадненных души, заговоривших в хрип.
Так постепенно светлел безнадежный зал.
В эту ночь мне приснилась пара летучих губ.

□

Все тот же поворот, и дом, и дым.
Горит камин, ноябрь, наверно,
в гостиной у огня сидят они, как мы,
в той жизни, позапрошлой и неверной.

Все это ожерелье городков,
душою облученных поселений,
скользит под мгlistый памяти покров
за поворот, и легче по осенней

листве скользить навстречу той судьбе,
где я один. За окнами все немо.
Я говорю теперь не о тебе,
но о тепле потерянного дома.

□

Все то же осталось во мне, все то же осталось,
Все тот же акцент, и шрам на руке, и та же усталость,
и книжный развал на полу, и музыка шума,
и наши бездомные встречи проносятся мимо

машины — дорогой на север, знакомой дорогой,
ведущей навстречу любви, судьбе, вдоль речки, сквозь годы,
по зоне газонов, уже изумрудных под утро,
и капли плывут по стеклу задумчивой ртутью.

Это — Хэллоуин: паутина на небе, на окнах. На страже
патрульной машины сирена, и все это — наше.
Подаренный жизни случайный кусок, погашенный, нежный.
Так кончился этот безжалостный век. Другой, безмятежный,

не нам обещает приют какой-то там доли.
Природа там — северный юг: лианы у школы.
И пьяница с виски дешевым стоит на пороге,
и выдох холодный с реки — лишь память о снеге.

Я помню ту жизнь, параллельную жизнь, за преградой,
за тонкой прозрачной стеной остывшего сада.
Как будто подходишь ты снова и медленно шепчешь,
и слов не понять, не понять ничего, но от этого легче.
И я разбираю, как будто, движение губ — безмолвное мещо.
Я долго смотрю и смотрю, и бьется к тебе ожившее сердце.

Двойники

Опять озноб, провал, температура,
плывущий остров на границе ночи,
когда встает родной двойник наутро,
пытаясь разглядеть себя воочью.

Как близнецы, глядят из жизни друг на друга,
(невидимое зеркало природы),
подруга выживает жизнь подруги,
неся в груди оскомину сквозь годы.

Но я тебя простил, простыл наутро.
Мы вместе горький кофе пьем на кухне.
И словно тень невидимого брата,
условная, со мной легко и глухо

с твоей сестрой идет по побережью,
как новобрачные от алтаря до гроба.
Как лезвием коснулся ветер свежий
горячей кожи. Я проснулся от озноба.

□

Если в бездну смотреть достаточно долго,
бездна глядит обратно в глаза.
Пора собираться в дорогу, замолкнув,
выйти из дома, не глядя назад.

Путь этот долог и необозначен.
Дверь закрываешь последним ключом.
В овраг ушлывают заборы и дачи.
Женщина вслед окликнет: зачем?!

Там за немым, замерзающим полем —
в необозначенный дальний уезд:
там жители сыты просыпанной солью,
там фосфором светится смешанный лес.

Все глуше я помню родные пенаты.
Все ближе граница ничейной земли.
Но, если дошел, если был там когда-то:
там каска твоя, котелок и лопата
и сорванный знак, чтоб потом не нашли.



□

Как белофинны в маскхалатах,
немые вспышки белых звёзд.
Прогноз погоды сводкой с фронта
звучит. И обещанья гроз
в глухой долине Дагестана
с небес спадают серой манной
на неподвижный Гельсингфорс.
Точнее, Кенигсберг, но сверху
за тыщу вёрст на разобрать.
Заладят — киселя хлебать!

Ржавеет утлая подлодка
с торпедой звёздной симбиозна.
Там некогда тонул десант
на боковых путях прорыва.
Все письма посланы, но вряд ли
на дальнем берегу пролива
их в срок получит адресат.

До нас, при перемене ветра,
летит погасшая зола
и привкус дизельного дыма.
У школы холм металлолома
не остывает до утра.

Глядишь, а за окном зима,
глядишь, и жизнь пошла по свету,
родных разбросанных ища.
В глуши молочный путь затерян,

у каждого своя война.
А у доживших до рассвета
уже разведены мосты.
Они давно живут без сна,
как раньше, спать ложась без света.

Двадцатый век за всё живое...
Судьба из века в век проходит
стопами, лёгкими, как сон,
разведкой на бесшумных лыжах,
ища с огнём надёжный дом.
Где люстра в кухне неподвижна
и только рюмки дрогнут нежно
от донных взрывов дальних войн.

КОШКА

Н.Г.

В закрытое окно последний взгляд.
На солнце пыль летит, и скатерть не на месте,
и люстра покачнулась невпопад,
и все, что было там, и все, что сплыло,
и выплыло навзлет, перед отъездом.

Весь прошлый быт семьи на сквозняке.
Комоды сдвинуты какой незримой силой,
собравшей тени на пустынном потолке.
Так, комната становится могилой.
Нет, не могила, но транзитный пункт,
где пересадки ждут наутро тени.

Растения таинственно растут
в горшках на подоконни —
ке. И нет живой души, лишь кошки глаз
следит за улицей, где длится суета отъезда ли,
ухода навсегда, или попытка выпрямить судьбу,
уже без нас. Быль строится на пыли.

Еще была картина на столе:
живая темпера на каменной золе.
Лица не видно, очертанье грусти,
и гвоздь в стене — метафора искусства,
и цифры телефонов на столе,

всех тех, кто съехали, и тех, кто не дожил,
и тех, кто вещи навсегда сложил
за дверью, той, что редко открывали.
В широтах наших не нужны сараи,
и свет сочится бледно через щели,
как жизнь сочится медленно сквозь швы.

Там странный мир живого отраженья.
Так, как проходит скорый — лишь скольженье
летающих жизней в шепчущей листве,
дрожащей на пути его движенья
(очки, бутылка водки, сигарета),
как мы еще живем тайком в Москве,
но сами позабывшие про это.

Тот пыльный быт останется в тиши, наедине с собой,
и лишь соседка зайдет порой скупающе с письмом,
и подберет забытые остатки.
Последний взгляд, гул эха во дворе.
Я вижу кошки глаз за гранью рамы,
и свет оставленный мелькает в ноябре,
как будто бы играя с ветром в прятки,
как след фантомной, позабытой раны,
и чай заплесневелый на столе.

□

Л. Херсонской

Под конец он ждал, чтобы она пришла,
разложила все, как всегда:
помидоры тонко
нарезаны, соль, перец.
Вообще-то все у нас в рубцах, швах,
и в окне маячит другой берег.
А он все ждет — жена есть жена.
Если есть. Тогда и лодка найдется.
Ну что там было: не тюрьма, не война,
так, мотания инородца.
Но живущий, знаем мы, — не сравним.
И на легких стопах она где-то спешит, тончая.
То ли — пот со лба, то ли чай с утра.
Все, что просит он, — чашку чая.



□

Ночной полёт над Кандагаром
долиной дальней Шаганэ.
Казак запахивает бурку.
Трофею рад он не вполне.
А на боку усталый Пушкин
судьбе глядит в вороный глаз.
Вдали рокошующие танки
на батальонный водопой
прошли и сгнули. Вотще
стоит осенняя погода.

Всё к Рамадану. Вообще:
есть виноград, арбузы, дыни.
Могучий отрок гор таджик
наставил гордый свой кадык.
И только ястребу неймётся
над ровным станом англичан.
Там бессловесные индусы,
поставив в козлы карабины,
рассевшись, пьют пахучий чай.

К рассвету всё не шевелится.
Печальны чары мрачных гор.
В выси висит стальная птица.
Проснулся Лермонтов. Спешит
по косогору на перемену вахты.
Муэдзин заводит свой гортанный зов.
Узбек, закуривая «Винстон»,
дороден, хитр и дальновиден,
свой открывает магазин.

Солдаты делят сахар. Воздуха раствор
теплее. Становятся яснее различимы:
грязь базара, бараки пленных, изгородь,
ров нечистот и пластиковый строй
фугасов кока-колы в шалмане на углу.

Тут зябко поутру.
Огромный глаз погас и киноварью
вытек и застыл.
А вахтенный моргнул
и АКМ потрогал. Замёрзла
граница неба, гор и темноты,
где зреет, нарастая
донным, дальним гудом,
ночной полёт над Кандагаром.

11-Е СЕНТЯБРЯ

Опадают пепельные лица
осенью в Нью-Йорке.
Асбестовое солнце не гаснет
ни днем ни ночью.
Многоглазая рыба на суше —
взорванный остров.
Крыш чешуя
зарастает цветами.
В гуде сирен —
безответное небо.
Сумерек астма —
в аспидном кратере порта.
Люди бредут на пожар.
Рыбы плывут — где поглубже.
Парки пусты на рассвете,
и только колеблемо ветром
нежное поле
проросших под утро сердец.

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

А Вы, собственно говоря, какое отношение к ней имеете!? —
Спросили его в Приемном покое.
Да я, в общем, седьмая вода на киселе и на тесте,
просто люблю ее, жду и все такое.

Хочу с ней побыть хоть часок у постели,
пульс проверить, я, знаете, врач ведь тоже.
Можете мне, конечно, нисколько не верить,
но наша любовь ни на что ни похожа.

Только скажите, я слышал — ей лучше!?
по всем показателям градусом выше?
Да, лучше, но Вы не приходитесь мужем,
и мы, юридически, не скажем лишнего.

У Вас три минуты, заполните формы,
вон на том столе, где пыльный крокус.
Получите пропуск — ну минуты четыре,
в графе «степень родства» — оставьте пропуск.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ

От Вифлеема к лазарету
конвой прошёл до поселения.
Погас кремнистый путь. Вдали
горит звезда Давида.
Безводным инеем наутро
соль на поверхности земли.

В долине — дым. Мангал горит.
Радар с ракетой говорит.
Гниение на дне пещеры,
там сера адская дымит.
И шпиль в бездомности безмерной
стоит столпом, как символ веры.

Под слоем вечной маеты:
менял и клерков, пестроты,
соборов, гомона и звона
в туманной гавани костры
всю ночь горят. Из пустоты
гудит норд-ост. Потом с утра
дымятся башни Вавилона.

□

Словно ферматик с ворохом с сумочкой «боже что я несу»
По пустым коридорам — кто в забое, в запое,
в случайной отлучке,

Кто в очереди за получкой, туристы геологи пропадают в лесу
Девушки все расползлись по зимним квартирам
Перья почистить за кормом и юбки у них коротки
Так что по залам по лестницам гулким с закрытым забралом
С заросшим хлебалом только услышу шаги чьи-то где-то легки

Третий этаж отражает далекое эхо
долгое время трепещет над Моховой
там формалин и таран и коблер и черные вежи
рядом на площади на пьедестале страшный баран нависает
раздутой главой как булавой

Я там бреду как во сне с бечевой на тетрадках
мой переплетчик любимый в подвале по-прежнему
клеит листы

Что остается в душе — далеко до сухого остатка
в нашей Москве как в холодной Пальмире не разводят
на память мосты

Так что брести мне еще до Калужской заставы
до ржавых оврагов до октябрьских в воронках дорог.
Я все еще помню и там в этой ветхой тетрадке
пропадают слова на изгибе и стерся назначенный срок
в субботу закрыто — там день неприятный, и редкий
пройдет грузовик в темноту на закатный восток.

□

Так и болтаешься между TV и компьютером:
Хоть шаром покати, хоть Шароном.
С полуночи знаешь, что случится утром.
Вчерашний вечер прошел бескровно.

Только солнце село в пустыню сухой крови.
Мертвое море спокойно, как в провинции «Лебединое озеро».
Тени, как патрули, тают по двое.
И вся земля – это точка зеро.

Расстегни ворот, загни, помолодей, умойся.
Прохлада холмы Иерусалима утром.
Там сквозные, резкие, быстрые грозы
Обмоют красные черепичные крыши и
Без тебя обойдутся.
Кому там нужны твоя карма и сутра?

К вечеру маятник ужаса застынет в стекле безразличия.
Заботы затоном затягивают под надкостницу.
Жизнь-то одна, и она — неизбежная.
Вот она жизнь твоя — места имение личное.
Только крики чужих детей висят гроздью на переносице.

□

Так остаешься один среди них.
Слышен сквозь сон приглушенный их смех.
Женщины выходят за хлебом и молоком.
А попадешься живьем — то волоком, то кивком.
Побудешь, пока вахта кончится, — и домой.

Дома тихо, только сопит домовая.
Кормишь его баснями о любви.
Только не верит он, бьет костяной ногой,
говорит: пропадали и не такие лбы.

Ну ладно, хоть ты-то мог бы меня простить.
А то непонятно, как дальше мне жить-тужить.
Собирать ли мне впрок пожитки, солить грибы
и по сусекам свечи гасить, где жили мы?

Да ладно, говорит он: коли так — живи.
Что ж с тобой делать, в последний раз
предупреждаю: с ними глаз за глаз,
ошибки твои, словно шрамы, живут в тебе,
сладки посулы ждут за углом с крюком.
Я же тебе не даю пропасть, а который год ты — ни ме, ни бе.

Так что не верь ты в спасительность чудных фей.
Стрельно в роще горелой поет стальной соловей.

Лишь матерей твоих шепчет в дальних углах листва.
Тихо зовет из тумана тебя сестра.

ЧАСОВЩИК

Там часовщик в своей берлоге
подводит вечные итоги,
и тикает нутро часов.
Его бессменная свобода,
его без возраста черты
напоминают мне о чем-то,
что я давно уже забыл.
Когда-то я здесь пиво пил
и в ближний парк гулять ходил.
Скорей всего, китаец он
(а не кореец, не японец),
но из провинции далекой.
Мычит на странном языке,
и ing'a гул в гортани донной
плывет на темном языке,
верней, не выйдя из гортани.
Когда-то я там рядом жил,
любил, дружил, потом уехал.
Китайца вижу много реже,
часы другие приобрел.
И их чиню теперь в другом,
не азиатском, новом, чистом,
аптечном, хинном и искристом
обычном заведении.
Но иногда я проезжаю,
притормозу, гляжу: вот он,
согнувшись низко и безмолвно,
корпит неумолимо долго

над скорлупой моих часов.
Тот мой заказ давно просрочен,
мною не получен, в срок не сдан.
Китаец мой сосредоточен
и в вечный бой идти готов.
А я — в китайский ресторан.



□

Я постепенно дичаю. Цветы завяли.
Луч на кирпичной стене задержался и стоял.
В сумерках сны, словно темная стая,
тихо повисли, как в пыльном заброшенном зале.

Долго сочится физиология горя.
Только не умер никто, никуда и не канул.
Дни мои сонмом идут, как усталые звери,
как облака к Атлантическому океану.

Голос откуда-то слышен. Не голос, но эхо.
Но на каком языке с этих мест, непонятно.
То ли она поминает заблудшего лихом,
то ли ребенок, проснувшись, бормочет невнятно.

Выну из сумки: «закат догорает смертельно».
Вновь уберу, и достану: «и ветер рыдает».
Улицей длинной и бездонно осенней
женщина с сумкой куда-то уходит седая.

□

Я читал Чехова у постели матери в больнице
для престарелых.

Короткие рассказы. Поздний свет несмелый
сочился сквозь окно — рама стояла на томике Куприна.
На крики больных семенили медсестры, филиппинки,
цветные.

Места нагорные висели в закате, ей недоступном.
Была весна.

Я дочитал, проверил растворы, тронул мел лба
и вышел, размышляя о том, что время течет для нас
по-разному.
Для меня неделя, для нее — минута, месяц ли, годы,
и бормотанье, слов предтеча, становится также праязыком
другого молчания. Что еще вспомнить? В такие погоды

на расстоянии «Еврейский дом» на холме
кажется усадьбой Набокова или Бунина,
то есть почти родной речью,
перенесенной в таинственную индейскую долину.
И чем дальше маячит тот дом за пределом,
тем все более и более ткань бытия,
цвета, запаха, боли — для тебя,
да и для меня
постепенно становится
ветром в кронах,
в овраге мелом.

III



□

Болотные огни
Низинами, лесами,
По пустошам, далеким городам
Ех *nihilō* плывут они за нами
Бессловный слог —
Невидимый метан.

Так мы живем — по освещенным трассам
Летим *ad hoc* неведомо куда
Ночным болотом и горелым лесом
В отмеченные сроком города.

Над нами поднимается надежда
Но это только будущего тень
и неизбежно манят нас как прежде
Болотные огни печальных деревень.

БОРГЕЗЕ

Это место, где время остановилось.
Пахнет хвоей, платаны немногословны.
Дышит прекрасным склепом, а не глухой могилой.
Мысль ящерицей скользит, слава Богу, мимо
по камню, выжженому солнцем,
тронутому старой кровью.
Наконец я спокоен. Все со мной, и более,
дышу настоем лучшего, что осталось.
Этот отвар крепче, если настоен на боли,
но на вкус не скажешь — много ли, мало.
И когда отплываешь — в тебе навсегда остается
брат Бернини, друг ненаглядный, сестра Мария,
и небосклон невозможно синий,
вода из глубин бесконечно льется, —
давно позабытое, но родное имя.

□

Все пустеют места за накрытым столом.
Кто пропал, а кто не доехал.
Остаемся порой то втроем, то вдвоем,
то один я сижу, словно веха.

Телефонную книгу смотрю — кто еще
леденеющим настоем подъедет.
Чья-то книга забыта под старым плащом.
Плащ — фигура в темнеющем свете.

То ли Саша не может дорогу найти.
То ли Леша хромает из Квинса.
Так и жили навстречу мы, словно в пути.
Отраженные в памяти лица.

Освежимся мы все же «казенным вином».
«Лист смородины груб и матерчат».
Неизвестно, что ждет за последней стеной.
Но там есть незаметная дверца.

□

Две пачки Дерби, три звезды:
Отца загашник в угловом серванте.
По книгам — память дачная листвы.
В двенадцать — неизбежные куранты.

Я рос за шкафом. Вроде счастлив был.
Морозным утром не ходить бы в школу.
Теперь наверно, многое забыл.
Но не забыл столбнячного укола.

И не люблю собак. Котов люблю.
И сам, как кот, крадусь по закоулкам
своей души. И вижу наяву
из булошной поджаристую булку.

То слойка, калорийная, а то
калач московский — признак воскресенья.
Вот я уже стою совсем в пальто
и бабушки летит прикосновение.

Теперь душа издалека глядит
на обледенелую планету.
Сквозь атмосферу светит теплый быт,
курантов звон и Дерби сигареты.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Когда-нибудь вернешься и увидишь старый дом,
висячие цветы и полки с книжной пылью,
полуоткрытое окно, осенний дым застывший в воздухе:
взгляд на иную жизнь.

Лежат на дне его листки, забытые давно.
Портреты на стене, их странный дальний взгляд,
Когда печаль неявна.

Вселенная семейной их судьбы.
Сто звездочек мерцающей надежды.
Так мягкой поступью кошачьей жизнь
обходит тихий дом, по-прежнему хранящий их следы,
попытку выжить, орех и дуб каркаса того быта,
который погасал годами.

Так и вышло, как с тысячью других.
Но, раз вернувшись, ты увидишь вновь:
Он у камина с мертвой сигаретой,
смирившись с невозможностью иного,
она — ступает вниз легко, тень в ореоле тающего света,
прозрачная рука простерта как Млечный Путь
над сумрачной планетой.
В ней неоткрытое письмо.

КОЛИЗЕЙ

Геометрия смерти.
Выжженный овал.
Губы камня.
Черствый хлеб.
Песнь ветра,
летающего
к оливковым рощам памяти.
Переплетение, смещение.
Сумерки в долине.
Туристское месиво днем,
каменное кладбище ночью.
Но в воздухе: соль
на земле Карфагена,
соль у Масады.
Тугие паруса,
направленные в никуда.
Тупик. Цепные псы
мертвых Цезарей.
Сонная сиеста.
Италийские тени в каменном саду:
свежая паста,
древний рецепт соуса.
Нещадное солнце щедро жарит,
слепо плавит маску
на лице гида родом
из неизвестного
берберского племени,
в майке с именем Тотти.

НОВОСТИ ДНЯ

Ураган несет на Каролины,
землетрясение в Турции, в Афинах,
взрыв в Донецке, близок конец света,
скоро будем жить при керосине.
То есть почти так, как в Карфагене.
Постепенно страсти постареют.
Девушки найдут себе подобных.
Не в вине ведь истина, а в дыме.
Но и дым когда-нибудь остынет
и останется как призрак дома.
Снежным дедом рядом с мёртвой елью,
чучелом, висящим на осине,
книжной пылью на последнем томе,
там, где о Гоморре и Содоме.
На обложке — стёршееся имя.
Участковый нас не обнаружит.
Паспортистка синие чернила
нанесёт, зевнув, на древо жизни.
Все куда-то лыжи наострили
от полей засиженной отчизны.
Но вообще, мы все давно знакомы.
Родина — глобальная деревня.
Позвонишь — а никого нет дома,
только чертит имена и стрелы
снег. Да чай индийский стынет,
да забытый зов магнитофона.



□

Остается только молчать.
Или говорить ни о чем.
На больничном бланке печать —
Окончательная — врачом.

Не глагол, не падеж, не род.
Зов сирен, да разрыв навзрыд.
Перелет, недолет, перелет.
Дрон судьбы над тобой парит.

Потому теперь я молчу.
Есть предел. Душа как сосуд
Сообщается с тем, кому
Уготован несправедный суд.

Были, сплыли: глад и чума,
Децимации, печи и мор.
Но теперь доведут до ума
В темной яме. Такой разговор!

Потому бессловесно пора
уходить за глухую черту.
Там, где нас до поры не сыскать.
Не зовите — не услышать.
Там — туман, как иприт поутру.

□

Осторожно, двери закрываются.
Следующая станция неизвестна.
Хорошо бы проехаться зайцем
До станции дно или бездна.

К дверям там не прислоняться.
Избегать места инвалидов.
Смотреть вперед безучастно,
Туда, где во мгле Атлантида.

Но там остановки не будет.
Надежда мерцает на встречный.
Но и он ответит лишь гудом,
От станции Междуречье.

Вокруг собираются тени
В надежде на дальнюю встречу.
Все ближе тоннельные стены.
Разложим носильные вещи.
Мы в этом вагоне навечно.

□

Подземные реки текут неслышно
Не слышно слов по глухим долинам
Там нету вместе и нету между
Неразлично витает имя.

В подземных рощах уснули птицы
Остатки пепла доносит ветер
Зарница жизни тревожит лица
И смысл в глазницах спокойно светел.

Но нету смысла в теченьи речи
В земной коре головного мозга
В такое время и речь не лечит
Когда со смыслов сошла короста.

А там, снаружи шумит собранье
Как перекличка гортанных скважин
И все яснее на расстояньи
Что шум собранья уже не важен

Возможно лишь замереть на время
Послушать гул огласовок в недрах
Неразлично витает имя
И не увидеть знаменитой Федры.

□

Проснулось зло, зашевелилось.
Да, собственно, и не дремало.
Ты просто посмотри на лица!
Оскал генетики провала.

Ну что ж, опять нам ждать потопа?
Так не доплыть до Арарата.
Там три таможни. Для полета
Не голубь нужен, а ракета.

Проговорили, прозевали,
Забьли, словари забросив.
Разбиты вдребезги скрижали
На опустевшем том погосте.

И не надейся, не поможет.
Лишь остается перебраться
Где на краю пустыни ложе
Готово под палящим солнцем.

Там камень, ветер, дым в долине,
Свечение геенны ночью.
И все же различимо имя
В бессмертной речи.

□

С той стороны туманного окна
Отец и дед сквозь дым глядят в ненастье.
Кровавые концы разрыва связей.
На пустыре кремлевская стена.

Вина, война, изводный суд страны,
Оставшейся без времени и места,
Пустынные бульвары без весны.
И цели нет. Лишь методы и средство.

По площади, и вниз — ко дну реки
Идут полки сквозь мразь фальшивых звуков.
И русский стих исчадием строки
Уже не лечит внутреннее ухо.

Отец и дед: затих медальный звон.
Лишь рыночный, мозглявый визг и лязги.
И все растет огромный стадион
Вошедший в раж от половецкой пляски.

Пока есть Плешка и Большой театр,
Введенское. Но ветер сообщает:
Над городом уже сгустился мрак,
И нависает угловатый знак,
И в сумерках в Гоморру превращает.

Тот огонь

Я ушел, и огонь догорал без меня,
и никто не сидел без меня у огня.
Я зашел в магазин, и в аптеку, и в банк,
но горящий огонь все не шел из ума.

Я давно переехал и в новом доме
напеваю и грустно нормально живу.
Жизнь идет, и привычно зовет западня.
А огонь все горит и горит без меня.

Президенты сменялись и несколько зим,
я скучал по кому-то в какой-то связи.
Говорил и писал и хватал за рукав.
Собеседников круг поседел на глазах.

Жизнь живуча. Я вот — в магазин или в банк,
то присяду к огню, потому что устал.
Я дошел до угла на мигающий свет
этих фар, и тепло все дышало мне вслед.

Я живу в новом горьком житейском дыму,
но того же огня я найти не могу.
Отдыхая, сижу у другого огня,
но то пламя горит и горит без меня.

Улица

Я помню стену, улицу и дым повисший
над рекой невидимой. И я один из них
но неизвестно им моё присутствие или я
один, другой среди теней на стенах
зовущих тянущих живую руку но
улицу не перейти. Тих сумеречный мир
ни звука. Тени на стене от без вести
пропавших. Память камня словно
плющ ползущий грибница памяти
кладбищенская чаща. Бесплоден спор — рука
не достигает взлетевших птиц. Ворота
приоткрыты не видно лиц. Всё говорит
о том что жизнь была и есть
всевышний пролетел задев крылом
ночную тень от башни. И след его пропал.
Но двое без конца ведут свой разговор.
Они его не слышат. Он — в шуме лип и в осязаньи
ветра с невидимых полей за городом.
Поодаль ребенок не уснул. Он слышит гомон
взрослых а дальше час такой — не слышно
гуда тел лишь шёпот душ по улице
где ангел пролетел. Не видно выхода но это
не тупик. Граница города в беспамятстве
полей. На улице пока светло. Прозрачный
ранний вечер. Пора идти домой — на свет
на запах быта. Но некуда идти. Остыл
последний след. Расположение тел
геометричность жеста — по Лобачевским

линиям за мглу за горизонт. Но
горизонта нет. Лишь явная черта
на улице потерянных имён последних слов
безмерного остатка недосказанного.
Потом фигуры тают и речь
теряется в светлеющих стволах.
И только стая знает — есть у птиц душа
или только сгусток гладких мышц
несущих терпкий свой глоток. Но есть
душа у мест. Так облученный лес
несёт свою судьбу сквозь ядерный овраг.
На улице почти пустой — пыль шорохи
судьбы. Но обещанья нет что кто-нибудь
дойдёт. И утром не найти следов монет
вещей оставленных впотьмах
у каменных ворот. Никто и не придёт.
А за окном — быт нем как натюрморт.
Недвижимый до будущего века.
Но тонким пульсом — жизнь на волоске.
Свет тёмных глаз в глухом растворе
мрака.
Так и моя семья: кто в лес
кто по дрова. Молекулы любви
рассеяны по свету.
И на пути туда — я говорю себе
и женщина-судьба послушает
кивнёт и медленно уйдёт
по тихой улице за раму
без ответа.



□

утром подкрасить губы отвезти сына в школу
сквозь туман и изморось — в означенный день
отошли берега почерневшего жесткого снега
но и здесь углекислый химический тающий снег

суп порошок, урчащий горчащий кофе
никелированный блеск, пластик и пенопласт
в бесполом пространстве электронное море, поле
и прогибается медленно дней затвердевший наст

только мелькнув крылом, чувство в синкопе канет
в сумерках брезжит вокзал отлетевших душ
голос его далекий долго зовет в тумане
что там — Нью-Йорк, Нантакет, Москва или Льеж?

вечером снова — в домашнюю душную муфту
пальцы согреть, раздеться, как свеж алкоголь!
сына в дальнюю школу, горький кофе — наутро
и полюбить навечно словно ребенка боль.

□

Б.К.

Что там, за этой стеной?
Только ему доступно.
Непостижимо сном.
Невосполнимо утром.

Дальний мерцает звук,
В зеркале блик последний.
Можно на легкий миг
Путь опознать по следу.

Но не расскажет он
Что за чертой таится.
Там, за окном туман,
Тают родные лица.

Непостижима весть.
Сон ли, прозренья, строки.
Что-то там все же есть.
Но не узнать до срока.

И не увидет лик.
Словно мираж в пустыне:
Брезжит, пропал, возник
В тающей паутине.

Бренному не дано
Знак распознать незримый.

Огненным ли столпом
Или летучим дымом.

Нам же пока дана — боль,
А не узнаванье.
Каменная стена
Душащий дым прощанья.

ЯНВАРЬ. ДОРОГА

И. К.

Черный хрустящий лед.
Лунное олово.
Нету других дорог,
Холодно, голо.

Призрачное в ночи —
Белое здание,
Из темноты молчит
Дно мирозданья.

Что там в тени деревьев
На расстоянии?
Ночи просторный склеп —
Как на экране.

Ночь, ледяной фонарь,
Нету аптеки.
Долгий сезон — январь,
Мертвые реки.

Медленный лунный путь
Лег одиноко.
Нам суждено идти
Этой дорогой.

Кто-то там встречи ждет,
Верит, что снова...
Черный хрустящий лед,
Лунное олово.

□

Я дышу вместе с лесом по мере движения крон.
Подступает дыханье с пяти окоемных сторон.
Замолкает знакомый мне дятел.
Снег лежит до утра, до апреля, до мая, пока
не наступит пора
всем зайти на чаёк
в мой просвеченный дом,
за вечерний порог.
И послушать со мной
хруст заросшего леса,
тихий скрип половиц.
Когда там никого —
тот язык, на котором молчит
душа места.

Затихает в долине рокочущий джип.
Патрулирует где-то невидимый МИГ.
Среди снега тут жил одинокий старик,
где на стыке дорог стоял дом-магазин,
а теперь — только снег.
Навсегда заколочено в доме окно.
Счет за свет и за газ просрочен давно,
и в дверях не видать человека.
Здесь плывут облака ледяных островов,
исчезают снежинки не тающих слов,
и уходит на север дорога.

Постепенно останутся позади
люди, лодки, грибы и березы.

Будет дом мой стоять, как корабль на мели.
Чистый лист на столе, листопад на дворе,
вдох и выдох стиха на морозе.
Там мне нечего больше ни ждать, ни жалеть,
никого, ничего. Только ветер
бормотать будет необъяснимо.

Так останется остров в лесах — материк.
Там я сплю чудным сном у слияния рек,
и мне снится далекий закатный восток
и сентябрь с легким привкусом дыма.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Анатомия любви.....	7
«Близкое небо Вермонта...».....	9
Ботанический сад.....	10
«Брожу по местам преступления...».....	12
Дачное.....	13
«Мне хотелось узнать, почему треска...».....	18
«Облако, озеро, только нету башни...».....	23
«По поводу ситуации, моя дорогая...».....	27
Родная речь.....	29
«Ситуация грустная, моя дорогая...».....	31
«Смеркается. Совсем стемнело...».....	32
«Сухая хватка...».....	33
«Телефонный звонок из зиянья забвенья...».....	35
«Услышав голос тихий и глухой...».....	36
Футбольное.....	37
«Это – азбука Морзе...».....	39
«Я – пейзаж после битвы...».....	40
9 мая.....	42

II

5 адар II 5771.....	45
Август. 1968–2008.....	46
«Аллея длинная вдоль холма...».....	47
«В погасшем бездонном зале...».....	48
«Все тот же поворот, и дом, и дым...».....	49
«Все то же осталось во мне, все то же осталось...».....	50
Двойники.....	51
«Если в бездну смотреть достаточно долго...».....	52
«Как белофинны в маскхалатах...».....	54
Кошка.....	56
«Под конец он ждал, чтобы она пришла...».....	58
«Ночной полёт над Кандагаром...».....	60
11-е сентября.....	62
Приемный покой.....	63
Рождественские стихи.....	64
«Словно флоридец с ворохом с сумочкой...».....	65
«Так и болтаешься между TV и компьютером...».....	66
Часовщик.....	68
«Я постепенно дичаю. Цветы завяли...».....	71
«Я читал Чехова у постели матери...».....	72

III

Болотные огни.....	75
Боргезе.....	76
«Все пустеют места за накрытым столом...».....	77
«Две пачки Дерби, три звезды...».....	78

История семьи.....	79
Колизей.....	80
Новости дня.....	81
«Остается только молчать...».....	83
«Осторожно, двери закрываются...».....	84
«Подземные реки текут неслышно...».....	85
«Проснулось зло, зашевелилось...».....	86
«С той стороны туманного окна...».....	87
Тот огонь.....	88
Улица.....	89
«утром подкрасить губы отвезти сына в школу...».....	92
«Что там, за этой стеной?..».....	93
Январь. Дорога.....	95
«Я дышу вместе с лесом...».....	96

АНДРЕЙ ГРИЦМАН

СТИХИ

избранные и новые

ISBN 978-965-7848-58-6

Издательство “Книга Сефер”, Израиль, 2025

<https://www.knigasefer.com>

<https://www.facebook.com/KnigaSefer>

knigasefer2002@gmail.com

(972) 502423452

В книгу вошли избранные и некоторые новые стихи, за период 30-ти с лишним лет. Тексты составлены примерно по периодам и по настрою.

Кому любопытно, с творчеством автора легко ознакомиться на авторских страницах Журнального зала (<https://magazines.gorky.media/authors/g/andrej-griczman>), московского издательства «Время» (<http://books.vremya.ru/authors/1250-andrej-griczman.html>), или через Google.